Библиотека Всемирной Литературы

Антон Чехов

Рассказы. Повести. Пьесы



Огни

Антон Павлович Чехов

Антон Павлович Чехов. Огни

Антон Павлович Чехов
Огни

За дверью тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.

— Никого нет… — сказал Ананьев, когда мы вышли. — Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!

Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завилял хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей.

— Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? — сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. — Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, — сказал он, обращаясь ко мне, — удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.

— Да, деликатный пес… — подтвердил студент.

Азорка, должно быть, понял, что разговор идет

о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, — весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взгля-

нули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались всплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза — вероятно, окна какого-нибудь барака — и длинный ряд таких огней, становясь всё гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки…

— Экая благодать, господи! — вздохнул Ананьев. — Столько простора и красоты, что хочь отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит…

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сантиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутливом тоне:

— Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось, приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом году на этом самом месте была го-

лая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как всё это хорошо, ей-богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас, этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?

Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:

— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.

— Пожалуй… — согласился инженер.

И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь

инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи…

— Да, — пробормотал студент в раздумье. — Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лег, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!

— А вы эти мысли бросьте… — сказал инженер серьезно и наставительно.

— Почему?

— А потому… Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.

— Почему же? — повторил студент.

— Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны

в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастие! Несчастие! — повторил Ананьев и махнул рукой. — По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!

— Господи, да почему же они анафемские? — спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, нисколько не интересует его.

Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и ра-

ботать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счеты и молчал. Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи.

От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке», подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были

знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю.

Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет» и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то покойное, невозмутимое добродушие, какое приобретается порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок

хлеба, определенный взгляд на вещи… Его загорелое толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой…» Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.

Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет 23–24. Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов, всё же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху навыпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счеты проверял машинально и

всё время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень… Он глядел так, как будто бы для него было решительно всё равно, горит ли перед ним огонь, или нет, вкусно ли вино, или противно, верны ли счеты, которые он проверял, или нет… И на его умном, покойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Всё это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда… Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает… Стало быть, и толковать нечего…»

Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расходившегося добряка-дядьку. Казалось, что всё сказанное инженером было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем

не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был неравнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.

— Всей душой ненавижу эти мысли! — говорил он. — Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам, — может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не по коню корм, — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о бесцельности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастие в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу,

взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже.

— Чем же это худо? — спросил студент.

— Да поймите же, что это ненормально! — крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. — Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями, теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной, самостоятельной жизни. Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отрава начинает уж сказываться: и ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если, таким образом, жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей. И вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают

вашего мнения, например, хоть о войне: желательна, нравственна она или нет? В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно всё равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной или же своей смертью: в том и в другом случае результаты одни и те же — прах и забвение. Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится в пыль? И так далее, и так далее… Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания — ни тпрру, ни ну… Я находился под гнетом этих мыслей около шести лет и, клянусь вам богом, за всё это время я не прочел ни одной путёвой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного

кодекса. Разве это не несчастье? Засим, мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы, мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги!

— От наших мыслей никому ни тепло, ни холодно… — сказал студент нехотя.

— Нет, уж это вы — ах, оставьте! Вы еще не нюхали, как следует, жизни, а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете кузькину мать! Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злому татарину не пожелаю.

— Например? — спросил я.

— Например? — переспросил инженер; он подумал, улыбнулся и сказал: — Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок! Ах, какой урок!

Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал,

обращаясь больше ко мне, чем к студенту:

«Это было летом 187… года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил… Всё с грустью…

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так называемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты по хорошей мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь; дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к

небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море.

Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу; вдали темнела полоска дыма — это шел пароход, и, кроме этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышек, которые мелькали над водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега…

Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным,

то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности, и он рефлективно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие, укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: „О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года“. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: „На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн“. И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человечек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, всё это дела не касается… Простите, я не умею рассказывать коротко.

Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только

что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом в начале восьмидесятых стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что всё обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что всё вздор и чепуха и что ну его всё к чёрту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел приготовлять сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в сво-

ей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посладострастничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде: „К чему, спрашивается, родятся и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут…“

И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут… Помню, далеко в конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни — одна в розовом платье, две в белом — шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал: „Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!“

Я кстати вспомнил, что у своей петербургской

барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: „Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!“

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и

не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами… Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись — всё равно умрешь и сгниешь… Во-вторых, сударь мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение — всё заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди — нечего греха таить — не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи Степановны, то для меня решительно всё равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld,

а завтра уж и не помнишь о ней.

Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как оглядывают мужчин) и нашел, что она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.

„Вот с этой бы сойтись… — подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. — Ничего себе… Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии…“

Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было не легко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже

надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто-равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.

Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:

— Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?

— Кажется, в десять, или в одиннадцать…

Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление… Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

— Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?

— Да, я Ананьев… — ответил я.

— А меня вы не узнаете? Нет?

Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен 7–8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15–16 лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, — кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса — лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы, — в общем нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет, одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная… Я влюблен был в нее — во как! Ночей не спал, стихи писал… Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали… В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась,

и в это время ужасно походила на маленького хорошенького котеночка; когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку, — отсюда прозвище Кисочка.

За семь-восемь лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утеряла сходство с мягким, пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже, волоса казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее… Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего…

Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась.

— Как это хорошо! — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. — Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец

в Петербурге… Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!

В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал: „Хорошо бы сегодня сойтись с ней!“

— Помните, Наталья Степановна, — спросил я, — как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку и по вашему лицу разлилось такое недоумение…

— Нет, этого не помню, — сказала она, засмеявшись. — А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль…

— Ну, а я этого, представьте, не помню…

— Да, что было, то прошло… — вздохнула Кисочка. — Когда-то я у вас была божком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх…

Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полурусского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то

вроде Популаки или Скарандопуло… Чёрт его знает, забыл… Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и все, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание: „Ах, как это хорошо!“

Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Все время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари.

— Пойдемте ко мне чай пить, — предложила мне Кисочка. — Должно быть, самовар давно уже на столе… Я дома одна, — сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача. — Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома… Но в то же время я чувствовал, что роману не быть…

Мы вошли в дом. Комнаты у Кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная (а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и девать некуда), но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что Кисочка с супругом жила не бедно и проживала тысяч пять-шесть в год. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на „правилах товарищества“.

— Это вы с кем занимаетесь? — спросил я Кисочку.

— Ни с кем… — ответила она. — Это я так… От скуки и от нечего делать, старину вспоминаю, задачи решаю.

— У вас есть дети?

— Был один мальчик, но прожил неделю и умер.

Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше

она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное — уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день.

А Кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась всё больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина… Как ни мало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически-серьезное настроение Кисочки сменить на более легкое…

— Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор, — начал я, — Поговоримте о чем-нибудь веселом… Прежде всего позвольте мне по старой памяти величать вас Кисочкой.

Она позволила.

— Скажите, пожалуйста, Кисочка, — продолжал я, — какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно… Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру, и так далее, и так далее… Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне Кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде: „О, смотрите, Кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!“ Она опустила бы глазки и сказала: „Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее…“ А я бы ей: „Полноте, Кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил

вас!“ И так далее в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне Кисочка не засмеялась, а, напротив, сделала серьезное лицо и вздохнула.

— Всё это, что рассказывают, правда… — сказала она. — С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо… Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню… Обстоятельства бывают иногда сильнее человека!

— Это так, Кисочка, но какие же обстоятельства могли народить целую эпидемию?

— Очень просто и понятно… — сказала Кисочка, поднимая брови. — У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы, вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может. Надо выходить замуж… А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят бог знает за кого, за разных маклеров да пиндосов, которые только и умеют, что пить

да в клубе скандальничать… Выходят девушки так, зря… Какая ж после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком; встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать нельзя!

— Если так, Кисочка, то зачем же замуж идти? — спросил я.

— Конечно, — вздохнула Кисочка, — но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего… Вообще, Николай Анастасьевич, нехорошо здесь живется, очень нехорошо! И в девушках душно, и замужем душно… Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером, а если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы…»

За дверью опять залаял Азорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шарахнулся о стену барака… Лицо Ананьева поморщилось от жалости; он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку: «Хороший пес! Бедный пес!»

— Наш Николай Анастасьич любит погово-

рить, — сказал фон Штенберг, усмехаясь. — Хороший человек! — добавил он после некоторого молчания.

Вернувшись в барак, инженер подлил вина в паши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал:

«Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием Кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое, лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настежь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акаций и лип были всё те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко бренчало плохое фортепьяно, всё та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ: „умер“, моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут

у окна, глядя на гуляющую публику и слушая бренчанье фортепьяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!

Кисочка поставила на стол бутылку сантуринского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акаций и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепьяно затихло и только слышался ровный шум моря.

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить… У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он всё сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы: было половина одиннадцатого. Я стал прощаться.

— Выпейте на дорожку, — сказала Кисочка. Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот послышались

мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери.

— Кажется, муж вернулся… — сказала Кисочка, прислушиваясь.

Дверь щелкнула, голоса раздались уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека: один — полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе и другой — молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и Кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.

— Она, значит, тебе наврала, а ты поверил! — раздался через минуту громкий голос с сильным носовым прононсом. — Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.

— Ты, Юпитер, сердишься, стало быть, ты неправ… — сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос. — Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести: я тебя не стесню?

— Что за вопрос?! Не только можно, но даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни

Кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение; ею овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа и хочется, чтобы я ушел.

Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала:

— Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся… Ну, дай бог вам всего хорошего. Спасибо вам!

Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу; светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой; я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова: „Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено“ — и у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек…

Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро. К десяти часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ощупью добрался до ворот, то сжег десятка два спичек.

— Извозчик! — крикнул я, выйдя за ворота; в ответ мне ни гласа, ни воздыхания... — Извозчик! — повторил я. — Эй! линейки!

Но нет ни извозчиков, ни линеек. Гробовая тишина.

Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу — там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уж не так решительно, зову извозчика.

— Ощ! — отвечает мне эхо.

Пройти пешком четыре версты полем, да еще в потёмках — перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. Кое-где между деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугав-

шись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит — крррра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик.

Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове, и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и отдался ощущению, которое я так любил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса,

снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению… А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках… мысли не стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно…

Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться — мне было тепло и покойно — вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя… Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:

— Боже мой, когда же, наконец, всё это кончится? Господи!

Судя по голосу и по плачу, эта была девочка лет 10–12. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться…

— Господи! — говорила она протяжно и плача. — Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь, пойми же, и мне жить хочется… Ах, боже мой, боже мой!

И всё в таком роде… Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой… Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была Кисочка».

— Чудеса в решете! — вздохнул фон Штенберг. — Черная ночь, шум моря, страдающая она, он с ощущением вселенского одиночества… чёрт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами.

— Я рассказываю вам не сказку, а быль.

— Ну, хоть бы и быль… Это всё ни к чему и давно уже известно…

— Погодите презирать, дайте кончить! — сказал Ананьев, досадливо махнув рукой. — Не мешайте, пожалуйста! Я не вам рассказываю, а доктору… «Ну-с, — продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера. — Ну-с, увидев меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке, а лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за

спичкой, было уж не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять.

Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы… Признаюсь, оттого, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.

— Я не могу больше… — забормотала Кисочка голосом плачущей девочки. — Нет моих сил, Николай Анастасьич! Простите, Николай Анастасьич… Я не в состоянии жить так… Уйду в город к матери… Проводите меня… Ради бога, проводите!

В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешение забормотал какой-то вздор.

— Нет, нет, я поеду к матери! — сказала решительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нее были мокры от слез). — Простите, Николай Анастасьич, поеду… Больше не могу…

— Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет! — сказал я. — На чем вы поедете?

— Ничего, я пешком пойду… Тут недалеко. А я больше не в состоянии…

Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю, мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы.

В конце концов Кисочка взяла меня под руку и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. Было темно; когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного, обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около

оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уж ослабела от ходьбы и задыхалась. Я тоже молчал.

В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал: „Всё это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от Кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли… Всё вздор и суета…“

Когда мы поравнялись с мукомольней, Кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным:

— Николай Анастасьич, я знаю, вам всё это кажется странным. Но я страшно несчастна! И представить даже вы себе не можете, как я несчастна! Невозможно представить! Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя… Такая жизнь, такая жизнь…

Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.

— Такая жизнь! — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни. — Такая жизнь! А, боже мой, боже мой, что же это такое? А, боже мой, боже мой!

Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.

— Господи, да я же как в яме! — продолжала она,

ломая руки. — Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, боже мой, боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еще хорошего можно ждать после этого?

Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. „Хорошо бы сойтись с ней!“ — мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне всё шире и шире…

Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут Кисочка остановилась и сказала:

— Я вернусь, Николай Анастасьич! Вы идите себе с богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.

— Ну вот еще! — испугался я. — Коли идти — так идти…

— Я напрасно погорячилась… Всё ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили

мне прошлое, навели меня на разные мысли… Я была грустна и хотела плакать, а муж при офицере сказал мне дерзость, ну я и не выдержала… И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться… А впрочем… пойдемте! — сказала Кисочка и засмеялась. — Всё равно!

Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись: „Грядет час, в онь же вси сущие во гробех услышат глас Сына Божия“, отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и Кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями, знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек, — всё это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что Кисочка вернется и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой, животной прозой, как в эту ночь… Ужасно!

Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до Большой улицы, где жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка всё время молчала, а я глядел на нее и злился на себя: „Что же ты не начина-

ешь? Пора!“ В двадцати шагах от гостиницы, где я жил, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

— Николай Анастасьич! — сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами. — Я вашего участия никогда не забуду… Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные… Ах, как это хорошо!

Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокром, смеющемся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей и что бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: „Ах, как это хорошо!“ Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку…

Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки…

— Кисочка, ну что ты хочешь? — забормотал я. — Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя

люблю… Поедем, моя прелесть? Да? Хорошо?

По лицу Кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная Кисочка всё пятилась назад и глядела на меня большими глазами…

— Не нужно! Не нужно! — забормотала она, отстраняя меня руками.

Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички… Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу… Она была как в столбняке и не шла, но я взял ее под руку и почти понес… Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась Кисочке…»

Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок

и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробегал по его большой спине. Ему уж было стыдно и тяжело вспоминать, и он боролся с собой…

— Нехорошо! — сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой. — Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста… Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка, ах, как я понимаю этот совет! Как понимаю, боже мой! Однако, слушайте, что дальше… «Ставши моей любовницей, Кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума. Счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья, она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем

на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить…

— А насчет мужа ты не беспокойся! — успокоивала она меня. — Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.

Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побыла Кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем, как дома, и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи, журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое, дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и проч.

Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко, в какие-нибудь три-четыре часа сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом, на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде Кисочки неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой в сущности пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота… К тому же теперь, когда я был сыт,

мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть… А я, надо заметить, несмотря на свою беспорядочность, терпеть не мог лгать.

Помню, Кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила:

— Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?

И засмеялась от счастья… Это показалось мне сантиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего „глубины мысли“.

— Кисочка, ты бы ушла домой, — сказал я, — а то твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро…

Кисочка согласилась со мной. На прощанье мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедем в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, нежно и искренно ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск, но, вспомнив, что у меня в чемодане только шестьсот рублей и что осенью развязаться с нею

будет гораздо трудней, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость.

Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала серьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам.

— До завтра! — проговорила она и исчезла за дверью.

Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки; огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени.

„Не ждали!“ — подумал я.

Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сантуринского, закусил свежей зернистой икрой, которую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста.

Утром проснулся я с головною болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня.

„В чем дело? — спрашивал я себя, желая объяс-

нить свое беспокойство. — Что тревожит меня?“

И свое беспокойство я объяснил боязнью, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать и я должен буду лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к семи часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля-доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое, изменническое бегство…

Всё время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка!

Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, всё еще не оставляло меня, и всё еще я чувствовал себя вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы

рассеяться и успокоить себя, я стал глядеть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладко, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный, золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится… Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря.

Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство всё росло и росло… Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов, с бессмысленным, тупым лицом мечется женщина, ищет меня и голосом девочки или нараспев, как хохлацкая актриса, стонет: „А, боже мой, боже мой!“ Я вспоминал ее серьезное лицо и большие, озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, как родного, и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала.

„Влюблен я, что ли?“ — спрашивал я себя, по-

чесывая руку.

Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали и я один на один остался со своею совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ Кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что всё вздор и суета, что я и Кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее… Что, в конце концов, свободной воли нет и что я, стало быть, не виноват, но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро стушевывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски… Я то ложился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять принимался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу, а я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей.

Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распоряжаться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: „Я схожу с ума!“ Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии.

Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного и что до встречи с Кисочкой я еще не начинал мыслить и даже понятия не имел о том, что значит серьезная мысль; теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка; всё умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей — и только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута… Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал очевидно грубых ошибок, то это не в силу своих убеждений, — их у меня не было, — а просто только потому, что

я по рукам и ногам был связан нянюшкиными сказками и прописной моралью, которые вошли мне в плоть и кровь и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепостью…

Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на 26 году жизни, не дрессированный, совершенно свободный от постоя, не обремененный никакою кладью, а только слегка запылившийся кое-какими знаниями по инженерной части; он молод и физиологически алчет работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о бесцельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными, природными силами на манер самоучки справляется с широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем…

Эту виртуозность, игру в серьезную мысль

наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли.

Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил, благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...»

Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с Кисочкой и умолк.

— Тэк-с... — процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил. — Такие-то дела на этом свете!

Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по-видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он

постлал постель и стал раздеваться.

— У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! — сказал он раздраженно.

— Я, кого-нибудь убедил? — спросил инженер. — Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..

— И потом, удивительная логика! — проворчал студент, надевая ночную сорочку. — Мысли, которых вы так не любите, для молодых гибельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о сединах… Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли — яд, так яд для всех одинаково.

— Э, нет, душа моя, не говорите! — сказал инженер и хитро подмигнул глазом. — Не говорите! Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, настрадаются, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие.

Во-вторых, у стариков-мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей. Например, тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, чёрт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке… А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали, действительно, ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попадал молотком

в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрыч долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю…

— Всё это ничего не доказывает и не объясняет, — сказал студент, укрываясь простыней, — и всё это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами.

Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:

— Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике.

Словами можно доказать и опровергнуть всё, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю разве только, когда сойду с ума… Спокойной ночи!

Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.

Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.

— Мы утомили вас своей болтовней! — сказал Ананьев, зевая и глядя на небо. — Ну, да что ж, батенька! Только и удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь… Экая насыпь, господи! — умилился он, когда мы подошли к насыпи. — Это не насыпь, а Арарат-гора.

Он помолчал немного и сказал:

— Барону эти огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли… Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью… Однако, довольно философствовать! Пора бай-бай…

Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.

— Ну, пожалуйста! — говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. — Прошу вас! А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать где угодно, да и еще не скоро лягу… Сделайте такое одолжение!

Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.

— Нашему брату, батенька, некогда спать, — говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. — У кого жена да пара ребят, тому не до спанья. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка… У мальчишки-подлеца хорошая рожа… Шести лет еще нет, а способности, доложу я вам, необыкновенные… Тут у меня где-то их карточки были… Эх, деточки мои, деточки!

Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.

Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой и с всклоченными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало… Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую, волосатую грудь

и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.

— С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон Штенберг. — Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого это котлы?

— От Никитина… — отвечал угрюмо чей-то бас.

— Ну, так вот и поезжай к Чалисову… Это не по нашей части. Какого ж чёрта стоишь? Поезжай!

— Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! — сказал бас еще угрюмее. — Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость! До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать…

— Что там? — прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.

— От Никитина котлы привезли, — сказал студент, — и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?

— Гоните их в шею!

— Сделайте милость, ваше благородие, доведи-

те до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна…

— Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!

— Что такое? Кто там? — прохрипел опять Ананьев. — А чёрт их возьми совсем, — выбранился он, поднимаясь и идя к двери. — Что такое?

Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и о кнутом в руке и, по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.

— На что мне сдались твои котлы? — кричал Ананьев. — На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!

Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.

Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснув-

шиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком…

Я стал прощаться… Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал:

«Ничего не разберешь на этом свете!»

А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

Стало восходить солнце…